

На переломе (Кадеты)

Первые впечатления. — Старички. — Прочная пуговица. — Что такое маслянка. — Грузов. — Ночь.

— Эй, как тебя!.. Новичок... как твоя фамилия?

Буланин даже и не подозревал, что этот окрик относится к нему — до того он был оглушен новыми впечатлениями. Он только что пришел из приемной комнаты, где его мать упрашивала какого-то высокого военного в бакенбардах быть поспасходительнее на первых порах к ее Мишеньке. «Уж вы, пожалуйста, с ним не по всей строгости, — говорила она, глядя в то же время бессознательно голову сына, — он у меня такой нежный... такой впечатлительный... он совсем на других мальчиков не похож». При этом у нее было такое жалкое, просящее, совсем непривычное для Буланина лицо, а высокий военный только кланялся и призывал шпорами. По-видимому, он торопился уйти, но, в силу давнишней привычки, продолжал выслушивать с равнодушным и вежливым терпением эти излияния материнской заботливости...

Две длинные рекреационные залы младшего возраста были полны народа. Новички робко жались вдоль стен и сидели на подоконниках, одетые в самые разнообразные костюмы: тут были желтые, голубые и красные косоворотки-рубашки, матросские курточки с золотыми якорями, высокие до колен чулки и сапожки с лаковыми отворотами, пояса широкие кожаные и узкие позументные. «Старички» в серых каламянковых блузах, подпоясанных ремнями, и таких же панталонах сразу бросались в глаза и своим однообразным костюмом и в особенности развязными манерами. Они ходили по двое и по трое по зале, обнявшись, заломив истрепанные кепи на затылок; некоторые перекликались через всю залу, иные с криком гонялись друг за другом. Густая пыль поднималась с натертого мастикой паркета. Можно было подумать, что вся эта топочащая, кричащая и свистящая толпа нарочно старалась кого-то ошеломить своей возней и гамом.

— Ты оглох, что ли? Как твоя фамилия, я тебя спрашиваю?

Буланин вздрогнул и поднял глаза. Перед ним, заложив руки в карманы панталон, стоял рослый воспитанник и рассматривал его сонным, скучающим взглядом.

— Моя фамилия Буланин, — ответил новичок.

— Очень рад. А у тебя гостинцы есть, Буланин?

— Нет...

— Это, братец, скверно, что у тебя нет гостинцев. Пойдешь в отпуск — принеси.

— Хорошо, я принесу.

— И со мной поделись... Ладно?..

— Хорошо, с удовольствием.

Но старичок не уходил. Он, по-видимому, скучал и искал развлечения. Внимание его привлекли большие металлические пуговицы, пришитые в два ряда на курточке Буланина.

— Ишь ты, какие пуговицы у тебя ловкие, — сказал он, трогая одну из них пальцем.

— О, это такие пуговицы... — суетливо обрадовался Буланин. — Их ни за что оторвать нельзя. Вот попробуй-ка!

Старичок захватил между своими двумя грязными пальцами пуговицу и начал вертеть ее. Но пуговица не поддавалась. Курточка шилась дома, шилась на рост, в расчете нарядить в нее Васеньку, когда Мишеньке она станет мала. А пуговицы пришивала сама мать двойной провощенной ниткой.

Воспитанник оставил пуговицу, поглядел на свои пальцы, где от нажима острых краев остались синие рубцы, и сказал:

— Крепкая пуговица!.. Эй, Базутка, — крикнул он пробежавшему мимо маленькому белокурому, розовому толстяку, — посмотри, какая у новичка пуговица здоровая!

Скоро вокруг Буланина, в углу между печкой и дверью, образовалась довольно густая толпа. Тотчас же установилась очередь. «Чур, я за Базуткой!» — крикнул чей-то голос, и тотчас же остальные загалдели: «А я за Миллером! А я за Утконосом! А я за тобой!» — и покамест один вертел пуговицу, другие уже протягивали руки и даже пощелкивали от нетерпения пальцами.

Но пуговица держалась по-прежнему крепко.

— Позовите Грузова! — сказал кто-то из толпы.

Тотчас же другие закричали: «Грузов! Грузов!» Двое побежали его разыскивать.

Пришел Грузов, малый лет пятнадцати, с желтым, испитым, арестантским лицом, сидевший в первых двух классах уже четыре года, — один из первых силачей возраста. Он, собственно, не шел, а влачился, не поднимая ног от земли и при каждом шаге падая туловищем то в одну, то в другую сторону, точно плыл или катился на коньках. При этом он поминутно сплевывал сквозь зубы с какой-то особенной кучерской лихостью. Расталкивая кучку плечом, он спросил сиплым басом:

— Что у вас тут, ребята?

Ему рассказали, в чем дело. Но, чувствуя себя героем минуты, он не торопился. Оглядев внимательно новичка с ног до головы, он буркнул:

— Фамилия?..

— Что? — спросил робко Буланин.

— Дурак, как твоя фамилия?

— Бу... Буланин...

— А почему же не Савраскин? Ишь ты, фамилия-то какая... лошадиная.

Кругом услужливо рассмеялись. Грузов продолжал:

— А ты, Буланка, пробовал когда-нибудь маслянки?

— Н... нет... не пробовал.

— Как? Ни разу не пробовал?

— Ни разу...

— Вот так штука! Хочешь, я тебя угощу?

И, не дожидаясь ответа Буланина, Грузов нагнул его голову вниз и очень больно и быстро ударил по ней сначала концом большого пальца, а потом мелко костьюшками всех остальных, сжатых в кулак.

— Вот тебе маслянка, и другая, и третья!.. Ну что, Буланка, вкусно? Может быть, еще хочешь?

Старички радостно гоготали: «Уж этот Грузов! Отчаянный!.. Здорово новичка маслинками накормил».

Буланин тоже силился улыбнуться, хотя от трех маслянок ему было так больно, что невольно слезы выступили на глазах. Грузову объяснили, зачем его звали. Он самоуверенно взялся за пуговицу и стал ее с ожесточением

крутить. Однако, несмотря на то, что он прилагал все большие и большие усилия, пуговица продолжала упорно держаться на своем месте. Тогда, из боязни уронить свой авторитет перед «малышами», весь красный от натуги, он уперся одной рукой в грудь Буланина, а другой изо всех сил рванул пуговицу к себе. Пуговица отлетела с мясом, но толчок был так быстр и внезапен, что Буланин сразу сел на пол. На этот раз никто не рассмеялся. Может быть, у каждого мелькнула в это мгновение мысль, что и он когда-то был новичком, в такой же курточке, сшитой дома любимыми руками.

Буланин поднялся на ноги. Как он ни старался удержаться, слезы все-таки же покатались из его глаз, и он, закрыв лицо руками, прижался к печке.

— Эх ты, рева-корова! — произнес Грузов презрительно, стукнул новичка ладонью по затылку, бросил ему пуговицу в лицо и ушел своей разгильдяйской походкой.

Скоро Буланин остался один. Он продолжал плакать. Кроме боли и незаслуженной обиды, какое-то странное, сложное чувство терзало его маленькое сердце, — чувство, похожее на то, как будто бы он сам только что совершил какой-то нехороший, непоправимый, глупый поступок. Но в этом чувстве он покамест разобраться не мог.

Страшно медленно, скучно и тяжело, точно длинный сон, тянулся для Буланина этот первый день гимназической жизни. Были минуты, когда ему начинало казаться, что не пять или шесть часов, а по крайней мере полмесяца прошло с того грустного момента, как он вместе с матерью взбирался по широким каменным ступеням парадного крыльца и с трепетом вступил в огромные стеклянные двери, на которых медь блестела с холодной и внушительной яркостью...

Одиноким, точно забытый всем светом, мальчик рассматривал окружавшую его казенную обстановку. Две длинные залы — рекреационная и чайная (они разделялись аркой) — были выкрашены снизу до высоты человеческого роста коричневой масляной краской, а выше — розовой известкой. По левую сторону рекреационной залы тянулись окна, полузаделанные решетками, а по правую — стеклянные двери, ведущие в классы; простенки между дверьми и окнами были заняты раскрашенными картинами из отечественной истории и рисунками разных зверей, а в дальнем углу лампада теплилась перед огромным образом св. Александра Невского, к которому вели три обитые красным сукном ступеньки. Вокруг стен чайной залы стояли черные столы и скамейки; их сдвигали в один общий стол к чаю и завтраку. По стенам тоже висели картины, изображавшие геройские подвиги русских воинов, но висели

настолько высоко, что, даже ставши на стол, нельзя было рассмотреть, что под ними подписано... Вдоль обеих зал, как раз посреди их, висел длинный ряд опускных ламп с абажурами и медными шарами для противовеса...

Наскучив бродить вдоль этих бесконечно длинных зал, Буланин вышел на плац — большую квадратную лужайку, окруженную с двух сторон валом, а с двух других — сплошной стеной желтой акации. На плацу старички играли в лапту, другие ходили обнявшись, третьи с вала бросали камни в зеленый от тины пруд, лежавший глаголем шагах в пятидесяти за линией валов; к пруду гимназистам ходить не позволялось, и чтобы следить за этим — на валу во время прогулки торчал дежурный дядька.

Все эти впечатления резкими, неизгладимыми чертами запали в память Буланина. Сколько раз потом, за все семь лет гимназической жизни, видел он и эти коричневые с розовым стены, и плац с чахлой травой, вытоптанной многочисленными ногами, и длинные, узкие коридоры, и чугунную лестницу, — и так привык к ним, что они сделались как бы частью его самого... Но впечатления первого дня все-таки не умирали в его душе, и он всегда мог вызвать чрезвычайно живо перед своими глазами тогдашний вид всех этих предметов, — вид, совсем отличный от их настоящего вида, гораздо более яркий, свежий и как будто бы наивный.

Вечером Буланину, вместе с прочими новичками, дали в каменной кружке мутного сладкого чаю и половину французской булки. Но булка оказалась кислой на вкус, а чай отдавал рыбой. После чая дядька показал Буланину его кровать.

Спальня младшего возраста долго не могла уgomониться. Старички в одних рубашках перебегали с кровати на кровать, слышался хохот, шум возни, звонкие удары ладонью по голому телу. Только через час стал затихать этот кавардак и умолк сердитый голос воспитателя, окликавшего шалунов по фамилиям.

Когда же шум совершенно прекратился, когда отовсюду слышалось глубокое дыхание спящих, прерываемое изредка сонным бредом, Буланину сделалось невыразимо тяжело. Все, что на время забылось им, что заволкло новыми впечатлениями, — все это вдруг припомнилось ему с беспощадной ясностью: дом, сестры, брат, друг детских игр — кухаркин племянник Савка и, наконец, это дорогое, близкое лицо, которое сегодня в приемной казалось таким просящим. Тонкая, глубокая нежность и какая-то болезненная жалость к матери переполнили сердце Буланина. Ему припомнились все те случаи, когда он бывал с нею недостаточно нежен,

непочтителен, порою даже груб. И ему представлялось, что если бы теперь, каким-нибудь волшебством, увиделся он с матерью, то он сумел бы собрать в своей душе такой запас любви, благодарности и ласки, что его хватило бы на многие и многие годы одиночества. В его разгоряченном, взволнованном и подавленном уме лицо матери представлялось таким бледным и болезненным, гимназия — таким неуютным и суровым местом, а он сам — таким несчастным, заброшенным мальчиком, что Буланин, прижавшись крепко ртом к подушке, заплакал жгучими, отчаянными слезами, от которых вздрагивала его узкая железная кровать, а в горле стоял какой-то сухой колющий клубок... Он вспомнил также сегодняшнюю историю с пуговицей и покраснел, несмотря на темноту. «Бедная мама! Как старательно пришивала она эти пуговицы, откусывая концы нитки зубами. С какой гордостью во время примерки любовалась она этой курточкой, обдергивая ее со всех сторон...» Буланин почувствовал, что он совершил сегодня утром против нее нехороший, низкий и трусливый поступок, когда предлагал старичкам оторвать пуговицу.

Он плакал до тех пор, пока сон не охватил его своими широкими объятиями... Но и во сне Буланин долго еще вздыхал прерывисто и глубоко, как вздыхают после слез очень маленькие дети. Впрочем, не он один в эту ночь плакал, спрятавшись лицом в подушку, при тусклом свете висячих ламп с контр-абжурами.